

Николай Петрович Вагнер

Любовь великая



Часть сборника
Сказки Кота-Мурлыки (сборник)



Николай Петрович Вагнер

Любовь великая (Сказки Кота-Мурлыки)

«На краю города, в сыром, холодном подвале, жила бедная старушка со своей маленькой внучкой.

В этот подвал постоянно стекала вся грязная вода с целого заднего двора. Осенью и весной старушка вытирала эту воду тряпками, но, на беду, тряпок у ней было немного...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0016
III.....	.0026

Николай Петрович Вагнер
Любовь великая

На краю города, в сыром, холодном подвале, жила бедная старушка со своей маленькой внучкой.

В этот подвал постоянно стекала вся грязная вода с целого заднего двора. Осенью и весной старушка вытирала эту воду тряпками, но, на беду, тряпок у ней было немного. Да при том и от тех тряпок, которые были у старушки, она подчас должна была отказываться затем, чтобы, вымыв такую тряпку чистенько, заплатать ею где-нибудь старую юбку. Ведь она была очень чистоплотна и порядлива – эта бедная добрая старушка.

Но зимой в подвале старушки было чистенько. Ведь вся вода на дворе замерзала. – Вот, – говорила старушка, – нет худа без добра. Хоть холодно, зато чисто!..

И это была совершенная правда. Только с холодом было гораздо труднее справиться, чем с грязной водой.

В подвале была маленькая печурка, даже с котелком. Но котелок давно треснул, так что в нем ничего нельзя было делать, да и печур-

ка точно так же вся растрескалась и стояла закоптелая, почернелая, точно «бельмо на глазу!» – как уверяла старушка. При том топить ее было вовсе невозможно. Такая уж она была откровенная! Как только ее затопят, она сейчас примется весь дым, какой у ней есть внутри, выпускать наружу, хотя никто ее об этом не просит.

Впрочем, правду надо сказать, топить эту печку приводилось не часто, не потому, чтобы в этом не было надобности. О, нет! Иной раз очень и очень не мешало бы хорошенько протопить это «бельмо на глазу». Но в том-то и беда, что топилок не хватало. Хорошо, если удастся набрать где-нибудь на стройке охапку, другую щепочек!

А чаще приходилось кутаться в куцавейку и дырявую старую шаль.

Правда, можно бы было закутаться в салоп – весьма почтенный салоп, которому было ровно сорок лет от роду, но под салопом спит внучка, «сударушка-Машурка». Да и при том что же это за салоп?! Одна химера! Когда-то был лисий, а теперь, почитай, весь стал заячий; а уж заплат-заплат на нем! Во всю

жизнь не сочтешь.

И старушка угрюмо смотрит на печку и щупает ее холодные стенки.

– Не держит тепла, как есть не держит, такая уж продувная вещь... Ну! да зато и не дымит теперь, коли нетоплена, и не дымит, – и старушка улыбнулась и посмотрела на оконце, «нет худа без добра!»

А пар так и валит из ее маленького ротика.

– Этакий холод, прости господи!... Машурка, а Машурка, сударушка моя... Спит, ангел божий, спит, моя родная.

И старушка наклоняется над убогой постелькой и прислушивается к дыханию четырнадцатилетней больной девочки, сухо-ручки, сухоножки.

Бледное, исхудалое личико девочки смотрело кротко и тоскливо, с таким покорным страданием, что, глядя на него, верилось во все доброе и лучшее на земле.

И потому крепко любила старушка это личико, что не было у ней никого, на всей земле, родного и близкого, кроме «сударушки Машурки».

Ну, и Машурка любила бабушку, по тому

же самому – потому что старушка-бабушка стояла у ней постоянно перед глазами и наяву, и во сне, и в уме, и в сердце. Ведь это она водила ее еще маленькую, очень маленькую, и в сады, и в рощи – водила, когда у ней, у «сударушки Машурки», были здоровые ручки и ножки. Но это было очень, очень давно. Целые десятки лет, казалось ей, прошли с тех пор. Тогда и папа и мама были живы, но их Машурка помнила как во сне. Да! давно это было, очень давно... А потом, потом... Проходили дни, месяцы, годы – люди ходят, бегают... а она лежит, лежит, точно прикованная, и не может пошевелинуть ни руками, ни ногами... Нет, не дай бог никому, никогда испытать это состояние!..

Одно было утешение у Машурки – старушка-бабушка. Это был единственный человек, родной, любящий, друг неизменный, который постоянно ухаживал за ней, не зная ни сна, ни отдыха. Как же Машурке было не любить своей бабушки?!

И самое лучшее удовольствие у Машурки было то, чтобы читать бабушке «Училище благочестия»! У бабушки были две таких

книжки, старые, подаренные ей кем-то, а кем – бабушка никак не могла припомнить. Но Машурка очень хорошо знала, что этих книг больше двух, потому что на одной из них стоял «том восьмой и последний». Что же было в тех шести томах, которые Машурка не видала? Должно быть, истории еще более удивительные и поучительные.

Почти каждый день Машурка читает бабушке «Училище благочестия», а бабушка... усердно трудится над толстым шерстяным чулком, из всех сил ковыряя упрямые петли, которые то и дело слезают с игол толстых, точно железные палки. Уж она смотрит, смотрит своими старческими глазами сквозь большие очки, в такой прочной оправе, как будто на них собирались трехэтажный дом строить. Смотрит на несносную петлю и никак не может ее подковырнуть. «Такая непутная, прости господи, никак не совладаешь!»

Впрочем, и чулок у бабушки был бесконечный. – Она, как Пенелопа, что днем навяжет, то вечером распустит. Вот уже другой год как она обещала Машурочке связать теплые чулки, и вот вяжет, вяжет с неизменной верой,

что когда-нибудь окончит их. Ведь верой и терпением до всего можно достичь.

– А я, Машурочка, не пойду сегодня к его превосходительству, – говорит бабушка. – Ноги что-то болят, а пуще всего вот эта – левая – все ломит, да ломит всю ноченьку вплоть до бела утра...

Его превосходительство, Неофит Афанасьевич Присноуспенский, был постоянным «предметом хождения» старушки-бабушки. Каждое утро аккуратно она посещала его канцелярию и его самого и каждое утро получала короткий и ясный ответ: «завтра приди!»

Бабушка получала грошовый пенсион еще от добрых старых времен, но ей непременно хотелось выхлопотать пенсион и для «сударушки-Машурки». Отец ее был казначеем как раз в том месте, где теперь его превосходительство, Неофит Афанасьевич, был начальником. Начальнику как-то понадобилось экстренно, на три дня, иметь в руках несколько тысяч, и он обратился за ними к казначею. Дело не могло иметь никакого сомнения, и казначей дал его превосходительству казенные деньги, дал потому, что был твердо уве-

рен, что через три дня он наверно получит их. Но через три дня, за вечерним чаем, за второй чашкой он вдруг захрипел, застонал, уронил блюдце – покатылся и умер. Казну обревизовали – оказался в казне недочет пяти тысяч, и семейство казначея, т.-е. сударушка-Машурка, была лишена пенсии. Следствие по этому делу отложили в долгий ящик, и его превосходительство, Неофит Афанасьевич, был твердо уверен, что это дело по бездоказательности прекратят и что бабушке выдадут пенсион ее сына, за все года с самой его смерти.

И вот почти каждый божий день старушка-бабушка ходит к его превосходительству за справками и почти каждый божий день получается один и тот же ответ: «приди завтра!»

А живет его превосходительство довольно далеко на отличной широкой улице в большом каменном доме, с широким подъездом на чугунных столбиках. И двери у подъезда большие, лаковые, с большими зеркальными стеклами, так что и подступиться к этим дверям бабушке страшно и опасно. Но она знает,

что эти двери так себе, что это не для нее, и что ведут они в большие сени с мраморным полом. В этих сенях широкая, также мраморная лестница, вся устланная коврами, вся уставленная заморскими деревьями. Бабушка знает, что есть в эти сени другой ход, со двора, и вот через этот-то вход бабушка прокрадывается каждый раз к швейцару Ивану Васильевичу. И если Иван Васильевич в добром духе, то он непременно примет старушку-бабушку приветливо, усадит в швейцарской и побалагурит с ней и в шутку даже табачком попотчует.

– Не нюхаю я, батюшка, не нюхаю, родной мой, – отказывается бабушка, складывая свои костлявые ручки на высохшей груди.

– А не нюхает кума, знать не твердого ума!.. – говорит Иван Васильевич, усердно набивая свой нос в обе чихалки. – Так-то, сударыня моя, а относительно твоего дела: завтра наведайся.

– Ох! Иван Васильич, – говорит бабушка, тяжело вздыхая, – слышала уж я этот ответ... вот уж два года слышу его, почитай, каждый день... Да вы справлялись ли, Иван Васи-

льич... может быть, его превосходительство...

– Справлялся, как следует справлялся... Ответ тебе подлинный и справедливый: завтра приходи!

Но в это время по лестнице раздаются шаги и лакей Ипатыч кричит сверху: Васильич! идут!

Иван Васильич торопливо и степенно выскакивает в сени к дверям и запирает бабушку в швейцарской, а с мраморной лестницы так же степенно сходят торжественной походкой его превосходительство и их дочка, Любовь Неофитовна. Бабушка сквозь стеклянные двери видит, как идут господа... И думает: «Господи! Спрошу я его самого, его превосходительство, может быть, он и скажет!..»

И она робко отворяет дверь швейцарской и, вся съезжившись, с слезинками на глазах, с остановившимся сердцем выступает в сени и низко, в пояс, кланяется его превосходительству.

– А я, ваше превосходительство, – говорит она, тихим дрожащим голосом, с мольбой сжимая свои костлявые ручки, – я, ваше превосходительство, пришла узнать насчет все

нашего дела... насчет... сударушки-Машурки... – и голос ее совсем оборвался, по сморщенному лицу побежали слезинки.

– А, а!.. хорошо, бабушка, хорошо. Это дело не скорое. Понимаешь, скоро нельзя его сделать, – говорит его превосходительство внушительно и еще более прищуриваясь, причем на его широком, бледном, несколько рябоватом лице промелькнула едва уловимая усмешка... – Я тебе вот что скажу!.. Приди ты через неделю, а лучше через две недели, и тогда, может быть, можно что-нибудь сказать... Прощай! – И, кивнув головой, его превосходительство отвернулся и хотел было направиться к двери; но его остановила дочка, которая все время пристально всматривалась в старушку-бабушку, кутаясь в свою соболью шубку.

– Папа! – сказала она по-французски, – ведь это бедная женщина?

– Да! это бедная старушка... у которой есть одно дело.

– Папа! я дам ей что-нибудь!

– Да, да! – сказал папа, – дай!

И дочка своими маленькими, хорошеньки-

ми ручками, затянутыми в сиреневые перчатки, вынула крохотный серебряный портмоне, достала из него новенький рубль и подала его бабушке.

И затем его превосходительство и его дочка скрылись за большой лаковой дверью, которую бойко и широко распахнул перед ними Иван Васильич.

– А, яй!.. старуха!.. безобразница ты!.. вот что я тебе скажу, – говорит Иван Васильич, запирая дверь.

– Батюшка вы мой, Иван: Васильич! – говорит старушка. – Ведь исходилась я вся, родной мой, нутро-то все во мне изныло... как же мне!..

– Ведь хорошо, что в добрую минуту подвернулась! А не то досталось бы мне с тобой!..

Но старушка не слушала его. Все внутри у ней переполнилось радостью.

– Через две недели! Через две недели! – твердит она и бежит, вся радостная, бежит к сударушке-Машурке, земли под собой не замечая.

Ровно через две недели бабушка опять отправляется к его превосходительству.

– Господи! – думает она, – ну, как да это в последний раз и его превосходительство обрадует меня радостной весточкой, что все кончилось. Создатель мой! – И от одной этой мысли старое сердце трепещет и сжимается, и мысли рвутся в голове, и слезы заволакивают глаза.

– Через две недели пожалуйста, сударыня моя, – говорит внушительно Иван Васильич, – так и приказал его превосходительство сказать тебе: – пусть придет через две недели, может быть, через две недели дело устроится. А велено мне еще твой адрес записать. – И Иван Васильевич берет большую книгу, в которую он записывает адреса, и медленно раскрывает ее.

– Зачем же это, Иван Васильевич?

– А опять же я ничего не знаю, а приказано записать, я и запишу.

– Верно его превосходительство хочет курьера послать, – думает бабушка, – чтобы не

тревожить мои старые кости на праздник... – и напрасно думает.

А дело было просто вот в чем.

Раз вечером были у супруги его превосходительства гости, – говорили о концертах, о разных скандалах, о спиритизме, о спасении души и, наконец, пришли к заключению, что благотворительность есть самое верное средство достичь небесного блаженства.

– Вот, – сказала ее превосходительство томным сентиментальным голосом, – вместо всех этих благотворительных обществ я бы предложила... – тут она немного остановилась, как бы собираясь лучше поразить слушателей. – Я бы предложила каждому человеку со средствами взять на свое частное попечение несколько семейств, сколько он может, и заботиться о них. Вы понимаете, что тут я беру на свою ответственность не только заботу о жизни, но и нравственных качествах.

– Прелестно! – вскричала одна из гостей, черная, огневая особа, вскочив с кресла и хлопнув в ладоши. – Великолепная идея! Ах, как это никому прежде в голову не пришло.

И тотчас же было приступлено к провизор-

ному плану и решено, чтобы каждому бедному семейству, которое поступит под попечение, был дан экземпляр Библии.

– Это краеугольный камень, – говорила огневая особа, которая из всего Ветхого и Нового завета помнила твердо только одну притчу о блудном сыне.

И каждая гостья начала припоминать бедных, которых она знала.

– Et voilà, maman! – сказала дочь хозяйки, – эта бедная старушка, которая приходила к папа. Я еще дала ей рубль.

И тотчас же записали бедную старушку и поручили человеку доподлинно узнать, где она и как живет.

Вот для чего понадобился адрес подвальчика старушки-бабушки. Бедная, она не думала, не гадала, что к ней снизойдет благоденствие в виде салонной моды.

И вот в один серенький ненастный денек подкатила каретка его превосходительства к тому дому, в котором жила старушка-бабушка, и ливрейный рослый гайдук высадил из каретки барыню и дочку его превосходительства.

Обе дамы обрушились, как снег на голову, на скромных, тихих обитательниц подвальчика.

Бабушка-старушка, без платья, с подоткнутой юбкой, из всех сил усердствовала – вытирала воду с маленьких поломанных и выбитых кирпичиков, которыми был вымощен подвальчик. И вдруг его двери распахиваются и на пороге, там наверху, над низенькой лесенкой являются какие-то две феи, два невозможных, сказочных существа.

Бабушка совсем растерялась; широко раскрыв рот и вытянув вперед руку с тряпкой, словно собираясь защитить себя от непонятного явления, окаменела в этой позе. Машурка, приподнявшись, как могла, на своей постельке, также смотрела изумленными глазами... а барыни между тем тихонько сходили с четырех ступенек и очутились среди подвальчика. Гайдук торопливо пододвинул барыне поломанный стул, и она, усталая, полуживая, опустилась.

– Здравствуйте... моя милая!..– шептала она. – Как же неудобно вы поместились?!

Дочка обернулась кругом, гайдук и ей под-

ставил какой-то трехногий стул, но она подошла к кроватке Машурки и села подле нее на эту кроватку.

– Вы больны, моя милая? – спросила она ласково, оправляя ленты своей шляпки.

– Больна, совсем больна, сударыня моя, матушка, – подхватила бабушка, у которой все мысли в голове терялись и путались. Она то обдергивала юбку, то оправляла дырявый платок на груди, который она успела накинуть на свои костлявые, желтые плечи... – Вот уже шесть лет лежит не вставаючи, без рук, без ножек... – и голос ее оборвался. Она потихоньку начала всхлипывать, закрыв глаза все тем же дырявым платком.

– Вам бы поместиться где-нибудь получше, а то эта квартира влияет дурно на здоровье, – посоветовала татап; – надо гигиенические условия соблюдать.

– Матушка вы моя, благодетельница, – проговорила старушка, – ведь эта квартирка-то даровая... хозяин нас Христа ради пустил!..

– Так зачем же он, – возразила с негодованием ее превосходительство, – в такие дрянные квартиры помещает людей Христа ради!..

Voilà ces paysans!.. (Вот это мужичье!) – прибавила она по-французски, обращаясь к дочери, – они не понимают настоящего дела благоденствия, они ради спасения души устраивают грошовую благотворительность!.. Я вам, милая моя, найду лучше квартирку...

Между тем дочка пристально смотрела на Машурку.

– Comme elle est délicieuse, maman (как она прелестна, мама),– сказала она... – la tête d'un chérubin (настоящая головка херувима),– и она с грустью смотрела в ясные, светло-голубые, большие глаза девочки...

Машурка рассматривала ее с таким же любопытством. В первый раз в жизни она видела так близко нарядную барышню, – это существо из другого мира, – которая сидела тут, подле нее, и трогала, рассматривала ее сухую, маленькую ручку. А барышня совсем прониклась жалостью к этому больному, бедному, милому ребенку.

У ней даже горло немножко сжалось и слезинки накипали на глазах.

– Что вы читаете, моя милая?.. Мы вам книгу принесли. Вы читали когда-нибудь

Библию?

– Евангелие читала, – проговорила Машурка.

– Да! мы вам всю библию привезли. Она поправила волоса ручкой в раздушенной перчатке и протянула эту ручку к гайдуку, который держал уже наготове толстую книгу в кожаном переплете.

– Вот вам, моя милая! читайте и не забывайте бога, – и она протянула ей тяжелую книгу...

Бабушка подскочила и взяла ее.

– Не может она держать, матушка, добрая, ангельская... Нет у ней силушки в ручках-то! и она положила книгу на колени Машурки, прикрытые изорванным, заплатаанным одеяльцем.

– Матап, – сказала дочка по-французски, смотря с непреодолимым ужасом и отвращением на это несчастное одеяльце. – Надо будет сделать ей одеяло!

– Да, – сказала матап, – и потом надо коврик перед кроватью. Как же можно больной девушке без спального ковра!.. И затем портьеры к окну, Dieu, mon Dieu!.. (Боже!) Какое

окно!.. Ты все это запиши, Люба...

И Люба вынула из кармана записную книжечку с перламутровыми корочками и начала вписывать перечень.

– А где нее вы спите, моя милая?

– А вот на этих лавках, ваше превосходительство... Была у нас кровать, после мужа осталась, двухспальная, большая, хорошая кровать, ну, я ее продала, как стала переезжать.

– Запиши, Люба, кровать. – И Люба записала.

– Затем надо мебель хоть немного приличнее, эта мебель ужасна!.. Il faut une chiffonnière (нужно шкафчик)... Вы где же, милая, белье держите?...

– Белье!.. Ваше превосходительство... – говорит старушка, складывая ручки... – Какое у нас белье... Две рубашки, да два полотенчика... вот и все белье... – говорит старушка, стараясь прикрыть платком на груди изорванную рубашку.

– C'est affreux!.. (это ужасно)! -ужасается тапан... и ей становится тошно при одной мысли об этом ужасном белье... – Люба, надо

посмотреть, нет ли у нас чего-нибудь из старого белья. Вам не надо ли платья, моя милая?.. – И она думает: подарю я ей *polonaise de Nabanna*, он совсем новенький, а из моды вышел.

И, наконец, матушка и дочка составили перечень.

– Ну! теперь пойдём! – сказала татап и поднялась со стула. – Я просто задыхаюсь в этой атмосфере.

– Прощайте, моя милая... – сказала Люба, и ей так жалко было эту хорошенькую девочку, этого *chêrubin monstre* с доброй ясной улыбкой, что она нагнулась и поцеловала ее в хорошенькие губки, причем с ужасом почувствовала, что от этих губок сильно пахло луком.

От старушки-бабушки благотворящие особы отправились далее. Они взяли на свое попечение четыре семейства. Кроме бабушки, им предстояло еще посетить бедного старика-писаря, разбитого параличом, одну вдову с тремя дочерьми-девицами и одно бедное семейство, жившее в какой-то трущобе.

Проходили дни и недели. Каждый день

старушка-бабушка говорит:

– Вот, сударушка-Машурка, сегодня нам привезут и кровать, и одеяльце тебе, и белья... Как бы хорошо было новую рубашечку надеть к Христовой заутрене!..

Но день проходил, наступал вечер, и бабушка махала рукой.

– Нет, видно, забыли, или не время... а то, может, ни случилось ли что-нибудь? Какая ни на есть беда... спаси господи!

Но никакой беды не произошло. А просто каждый день ее превосходительство говорила Любе:

– Ах! Люба! Где у тебя там перечень? Надо закупить, да послать им.

И Люба вынимала перечень и прочитывала, что надо послать.

– Вот это я сама куплю, а это – Потап, распорядилась ее превосходительство. – А это надо посмотреть: нет ли чего из старого?..

И старое выносилось, рассматривалось, разбиралось и снова пряталось. Тем дело и кончалось!

Наступила весна, теплая, дружная. Холодный снег растаял под лучами солнца, и земля проснулась, ожила под этими греющими, животворными лучами. Все живое проснулось к жизни. Каждое зерно почувствовало притягательную силу тепла и света и потянулось в рост, распустило свежие зеленые листики навстречу ласковому, любящему солнцу. Каждая травка, каждый куст и дерево окружились незримой пахучей атмосферой, жаждущей себе ответа, созвучия в окружающем мире. А люди суетились, хлопотали и среди возни и обыденных забот ждали Пасхи, ждали затем, чтобы на один миг встретиться, обняться, поцеловаться дружеским братским поцелуем и затем тотчас же снова похоронить на целый год великую, бесконечную любовь всего мира.

И Машурка ждала этого дня, вся трепетная и сияющая. Она вся жила своим внутренним миром и глубже, сильнее утягивал ее этот мир.

— Да ты бы, Машурочка, скушала чего-ни-

будь – шутка сказать, другой день ничего не ела, – говорит бабушка.

– Нет! Бабунчик! Мне ничего не хочется, мне так хорошо. Дай мне подремать, не мешай мне...

И бабушка с изумлением смотрит на ее личико. Такое оно хорошее – тихое, да ласковое, словно тихая, весенняя вода в разлив, когда рано утром, на восходе, смотрит в нее красное солнце.

– Господи! Спаси ее! – думает с ужасом бабушка, – уж не больна ли она, родненькая моя?! – И сердце ее дрожит и замирает при одной мысли потерять ее, родненькую.

А Машурка, в своих мечтах и грезах, еще глубже, еще выше уходит в сияющую высь надзвездную. Там все хорошо, все чисто и свято. Там невидимые лица поют неслыханные песни. Там тонкий воздух светит и ластится, и благоухает, и звучит чудными мелодиями. Там все благо и вся гармония.

И как тяжело из этого чудного мира пробуждаться здесь, в нашем темном, связанном, нестройном и неустроенном мире! Пробуждаться среди душного сырого подвальчика,

среди нищеты, всяких лишений, пробуждаться больной, убогой калеке, с высохшими ручками и ножками, осужденной на всю жизнь на постоянное, безысходное страдание!

– Бабушка, – говорит она, смотря своими большими ясными глазами прямо на бабушку, – дорогой мой бабунчик. Ты хотела бы видеть меня счастливой, веселой, здоровой?..

– Ах, ясная моя! – говорит бабушка, всплескивая руками, – о чем ты меня спрашиваешь? Как не хотеть, светик мой, да я бы, кажись, обе бы руки и ноги отдала, если б Господь милосердный тебе здоровья послал... Уж я не знаю, какому угоднику молиться... Господи! – крестится бабушка, и слезы бегут у нее по впалым щекам.

– Бабушка, – говорит опять Машурка тихо и внятно, – если ты действительно любишь меня, то пусти меня туда, – и она откинула голову и устремила глаза на закопченный, растрескавшийся потолок подвальчика, – туда, в вышину небесную.

Бабушка побледнела и задрожала... От одной мысли потерять сударушку-Машурку у ней потемнело в глазах и закружилась голо-

ва.

– Полно, полно, родная моя, – говорит бабушка сквозь слезы, – какая моя жизнь будет без тебя?! Машурочка! подумай ты, на что мне жизнь-то старой старухе?.. Одна ты у меня светел свет в очах, ясная моя, ненаглядная, на что мне жить без тебя? – И бабушка плачет, разливается.

– Бабушка, – говорит снова Машурка, когда бабушка немного успокоилась, – бабушка, родная моя, ты подумай только, на что, кому нужна наша жизнь бесплодная, разве мы приносим кому-нибудь пользу, добро?.. Бабунчик, милый мой, ведь я знаю, что ты для меня живешь, что ты няньчишься, ходишь за мной, как за своей дорогой куколкой, – но я-то сама кому нужна? Какую кому я пользу приношу на сем свете? Тряпочка никому ненужная... даром, просто даром занимаю я уголок на земле... а иной человек, полезный, трудящийся, поселился бы в этом самом подвальчике, который мы теперь с тобой празднично занимаем – и служил бы он добрую, благую службу в семье людской и на своем месте был бы всем нужен и всем мил и дорог.

Слушает бабушка, слушает сударушку-Машурку и не понимает ее, только одно она чувствует, что все сердце у ней сжимается при тяжелой, противной мысли расстаться с сударушкой-Машуркой. Не может она одолеть, помириться, проникнуться этой ужасной, убийственной мыслью.

И целый день ходит она, как потерянная... Смутно сознает она, что надо помириться с ней, с этой убийственной мыслью, – но ведь сердце не клубочек, не совьешь его, как хочешь, да не бросишь куда-нибудь в уголок. И текут, текут, капают горькие слезинки из слепеньких глаз бабушки.

– Бабушка, родная моя!.. поди ты ко мне... не убивайся так... а послушай лучше меня... – И послушно подходит бабушка и садится на кроватку, подле своей родненькой...

– Послушай меня, дорогая моя... поди ты в сестры милосердия.

Бабушка горько усмехается.

– Голубчик ты мой! кто же возьмет меня, старуху? Какая я сестра милосердия? Куда я гожусь, Машурочка моя?!

– Как куда, бабунчик? ведь ты ходишь за

мною, – ты нашу каморку содержишь в чистоте, ты и белье на нас стираешь, и печку топилешь? – Бабушка, родная моя! Все мы должны работать и не жить праздну... Найди себе какую-нибудь работу по силам... Послушай, голубая моя!

– Коли не будет тебя... на кого же я буду работать, подумай ты это... рассуди!..

– На всех, бабунчик, на всех, на кого можешь... ведь все люди – братья нам.

Бабушка ничего не возразила, она отвернулась от Машурки, опустила голову и, задумавшись, собирала свой передник на коленях во множество складочек, разглаживала эти складочки, снова расправляла и снова складывала. Ее слезинки исчезли... Она глубоко, крепко задумалась...

– Что я? – говорила она, как бы сама с собой. – Куда я гожусь?.. Старый пенек, что стоит одиночком, между камнями, на широком, широком поле!.. Разве и взаправду пойти в сестры милосердия?... Может быть и примут?

– Ах, Машурочка, – говорит бабушка, быстро вставая, – позабыла я, родная моя!.. ведь надо рубашечку-то тебе выстирать к праздни-

ку...

– Постой, бабурочка милая моя, успеешь ты выстирать и приготовить как следует все житейское... подумаем лучше, как бы жизнь была чище и правдивее.

– Ох! Машурочка! – говорит бабушка, вдруг остановись и складывая ручки, – дум-то у меня нет в голове... стара стала... дай ты мне все сообразить понемногу, да исподволь...

И целый день бабушка соображает и думает и не дает ей покойно работать глубокая дума... стирает она, стирает и вдруг останавливается... руки в воде, а думы ее летят далеко, далеко...

И под этими думами все яснее и тише становится в ее старческом сердце – словно легкрылая бабочка залетела в это сердце и трепещется светлыми крылышками, и тихо навеивает мир и покой глубокий и сладостный.

– Господи! – думает она, – умудрил младенца невинного... и этот младенец открыл мне внутренние, правдивые очи!.. Пусть же улетит он, этот младенец невинный, в выси горные!.. Зачем я буду его связывать?.. Прощай, моя сударушка, прощай, радостная!.. Настра-

далась ты в жизнь свою скоротечную!

И не чувствует бабушка, как льются из глаз ее, катятся светлые радостные слезинки и падают на ее высохшие, старческие ручки и в мыльную, грязную воду... Три дня, три ночи лежит Машурка без движения, еле дышит, едва говорит, но по-прежнему спокойно исхудалое личико и светятся ее ясные глазки. Порой словно тени внутреннего страдания заволочут его, сдвинутся бровки, стиснутся зубы, потускнеют глазки, но пробежит это облако, и снова сияет тихой радостью кроткая улыбка на побледневших, истрескавшихся губках девочки.

Бабушка одела Машурку, снарядила, приготовила – одела в беленькое платьице.

Затем она нагнулась к Машурке, к ее бледному потухшему личику и поцеловала ее... и Машурка собрала всю силу, которая еще тлела в ней, и ответила бабушке последним горячим поцелуем. Легкая краска разлилась при этом по ее личику, слезинки засверкали на потухавших глазках... Она даже нашла в себе силы проговорить с трудом, чуть слышно, коснеющим языком:

– Прощай!.. бабура моя!.. милая!..

И это были последние слова ее. Бабушка уже смотрела на нее, как на мертвую, и все крестилась... укладывалась, собиралась, на новую, трудовую жизнь...

Схоронили тело Машурки. Бабушка проводила его на кладбище.

– Куда я ее пристрою? Вишь местов-то нет! – говорит сердитый могильщик.

Но нашлось место – небольшой уголок между двух больших могил. Выкопал могильщик яму в аршин и тут же набежала в нее вода. Поставили в эту воду маленький гробик, и почти весь гробик скрылся в воде.

– Все равно, – думает бабушка... – разве не все равно, где гнить ее телу?!.

– Все равно! Все равно! Бабура милая! – шелестит в ее ушах холодный осенний ветер...

Продала всю рухлядь бабушка, простилась с подвальчиком, простилась с хозяином. Пошла проститься и к его превосходительству.

Бабушку встретили радостно и приветливо. Люба так сильно удивилась и огорчилась, когда услышала о смерти *chêrubin monstre*...

А его превосходительство дал бабушке це-

лых десять рублей, а главное – рекомендательное письмо в общину сестер милосердия.

Очень уж был рад он, разумеется, не смерти Машурки, нет, сохрани бог, а просто тому, что теперь это поганое дело о казначее само собой прекратится.

И поступила бабушка в общину сестер милосердия. Сначала было не хотели принимать ее: – куда, мол, возьмем такую старушку старую! Но испытали, попробовали – бабушка пробу выдержала, и приняли ее на послуги, черную работу справлять, за больными ходить, убирать, и приняли больше потому, что всем уж очень понравилось ее личико кроткое, доброе да любящее.